**ЛИЛИИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ**

– Чес-слово, я так больше не буду! – виновато и веря в искренность своих слов, обещаю я маме, устроившей мне не то что нагоняй, а, пожалуй, и целую выволочку за то, что я взял из шкафа тюлевую занавеску, которой мы с пацанами, как бредешком, ловили рыбёшку во время походов на речку. К моей радости, никакого наказания за мой проступок я не получаю. Испорченная напрочь занавеска, естественно, остаётся в моём пользовании. А мама, охая, упрекает уже батю: «Научил ребёнка на мою голову!» Это она о том, что он сам-то с мужиками на Мокшу ездил рыбалить пару раз, да не с бреднем, а почти уж и с неводом!

Рыбаком отец, по сути, не был; так, ездил иногда за компанию со своим другом дядей Альбертом Пичугиным. Вот тот был заядлым рыбаком! А снастей у него было – ого-го! И однажды он даже подарит мне настоящий двухколенный, клеённый из бамбуковых пластин, с пробковой ручкой, спиннинг вместе с «Невской» катушкой!

В цеху ни у кого из батиных приятелей не было машины. А у нас была! Зимой профсоюз продвинул папке очередь на машину с третьей на первую. Бывший первым в столярке по очереди, схлопотав выговор за пьянку и прогул, был поставлен куда-то в конец очереди, второй почему-то сам отказался. И, когда машины уже пришли в магазин, бате и предложили: бери, мол, Максим Степаныч! Родители, назанимавши денег у родни, у знакомых, взяли в кассах взаимопомощи и купили замечательную синюю машину «Москвич-408»! Вот из-за машины цеховые приятели и пытались затянуть папку в рыбацкую компанию. После первой поездки батя привёз столько и такой рыбы, что я не то что за всё лето никогда не налавливал, но и не видывал такущих огромных! Лини, лещи и подлещики, язи, судаки и щуки, не считая крупнющей плотвы и карасей! Естественно, я и напросился на следующую рыбалку ехать вместе с ним.

Кто-то в столярке из батиных приятелей, таких же работяг, как и он сам, был родом из Жегалова, села, что километрах в тридцати от города. Крайними своими домами оно враз на Мокшу и выходит. Так вот, с местными там всегда договаривались, когда надо приезжать рыбалить, –   
подгадывали день, когда в райцентре на смену заступала знакомая бригада рыбнадзора. И в этот раз к приезду городской компании всё было готово. Встретили нас километрах в пяти за селом на берегу Мокши. Несколько взрослых ребят и трое мужиков ждали нас на высоком в этом месте, со стороны села берегу. Лодка, невод – всё было готово.

Сидим над Мокшей – под обрывом омуток, вода в нём кручёная, тяжёлая, непроглядная. А вот там, где за стремниной от излучины к нашему берегу коса отходит, по обе стороны от неё мель желтеет. Вода за косой тихая, видно, как окунь малька гоняет. Бах, бах! И мелочь рыбья, и брызги – всё серебряное на солнце – в разные стороны! Некоторая мелочь даже на берег вымётывается. Дух захватывает! Чуть позже опять бац, бац! Опять – серебро брызгами! Даже долгоносый куличок, что по косе ходит, замрёт. Прислушается. Голову повернёт, наклонит её и, словно мальчишка, присматривается, сколько блинчиков по воде, брошенный им камушек отсчитает. Опять расхаживает, чего-то выис-  
кивает. Остановится. Замрёт. Клю! В воду. И ходит опять, ходит. Присматривается. Прислушивается. Длинноносый…

За прибрежным ивняком луга заливные, далеко видно, вон стадо пёстрое. Пацан с дядькой за ним идут. И ещё видно много. Простор. Ветер.

Понятное дело, взрослые, пока не свечерело, стали отмечать приезд, предстоящую рыбалку. Выпивают, курят, разговаривают. Ну, это ихние взрослые дела. А я – на Якорную заводь (на ней-то и собрались ночью невод таскать) с удочкой. А то как же, из-за этого и ехал. Мокша славится рыбалкой. Рыбы в ней всякой – во-о! Заводь красивая. Кувшинки, лилии, камыш в самом конце. У неё оба берега высокие, но не обрывистые. Из-под одного в нескольких местах ключи бьют, вода прозрачная-прозрачная, водоросли прямо ото дна видно, а глубина-то – с ручками, да ещё и дна не достанешь! Мальки среди водорослей мелькают, щурёночка можно иногда затаившегося увидеть. Стоишь, смотришь на воду, на кувшинки. Те жёлтые-жёлтые, бочончатые. Лепестки, правда, немного кургузо-полукруглые, но всё равно красиво! Среди кувшинок и ближе к середине заводи цветут лилии.

Вот эти белые лилии в Якорной заводи – самые красивые изо всех цветов, что я видел! Белоснежные, остролистные, в обрамлении зеленой остролистной же короны, собраны в маленькую-маленькую вазочку из смотрящих в стороны и вверх лепестков, в центре которой –   
колечком щёточка, желтее жёлтого цвета, из множества глянцевых тычинок, окружающих красновато-оранжевое донце. Такой нежный цветок и рвать жалко. Засмотришься. Красиво.

И лилии, и кувшинки, на ночь закрывая свои цветы, скрывались под воду. Кувшинки – превращаясь в маленькие зелёные, чуть приплюснутые сверху вниз кубышечки, а лилии смыкались в вытянутый, островерхий, тоже зелёный, но с белыми прожилками бутон (наружные зелёные лепестки не имели уже силы так плотно сжать весь цветок, чтобы совсем скрыть от глаз белизну внутренних лепестков).

Вечер разомлел. Стрекозы летают. Синие, зелёные, есть даже ярко-голубые с чёрными крыльями, они больше на осоке сидят небольшими группками, переговариваются, наверное. Вот коричневая стрекоза, она в несколько раз больше зелёных и синих. Толстая. Гудит как боевой вертолёт! Слышно, как её крылья шелестят, страшновато шелестят. Прилетела, висит прямо напротив моего лица, кажется, дунь – и прогонишь. Да как-то уж больно пучеглазо она смотрит на меня, кажется, даже опаснее, чем пчёлы на Винни-Пуха, после того как Винни заглянул к ним в гнездо. Висит. Смотрит не по-доброму так, смотрит – пучеглазо. Жужжит. Нехорошо жужжит – страшновато. А главное, там, где рот у неё, там шевелятся два каких-то загребательных коготка. Нехорошо так шевелятся. Висит и смо-отрит. Тут ещё одна такая же подлетает. Ну, думаю, всё! А чего «всё», пока ещё не знаю. Но нехорошее думаю… Прилетевшая стрекозища на меня посмотрела как-то невнимательно. Обидно даже посмотрела. Переглянулись эти обе пучеглазо, пошевелили своими жвалами, о чём-то договариваясь, и полетели будто куда, да первая, остановившись оглянулась и такое выражение своей морды сделала, словно сказала: «Не уходи никуда, ужин!»

Улетели в догонялки играть. Уф! Отлегло.

Я и о поплавке-то забыл. Вот он, сделанный из пробки, со спичкой, зажимающей леску в отверстии, прожжённом гвоздиком внутри поплавка. Он так замер, словно в лёд вмёрз. А вода такая же, как лёд, и есть – прозрачная-прозрачная, ти-ихая. Вдруг какая-то рыбища ка-ак вывернется – ба-бах! Только круги на воде. Кувшинки и их лопухастые листья покачиваются. И обязательно ведь у того берега! Обходишь заводь, а заводь длинная, обходить полкилометра, наверное. Сейчас я её! Вот здесь плесканулась. Забрасываю. Замираю. Всматриваюсь в поплавок. Не клюёт. Всматриваюсь ещё внимательнее, с прищуром уже. Всё равно не клюёт! Потом начинаю рыбу уговаривать: «Ну давай, давай, чего тебе ещё? Червяк такой хороший! Навозный! Полоски у него поперёк то красные, то желтоватые. А вёрткий! И после того как на крючок насадишь, всё равно хвостом так и крутит, так и крутит! Вкуснющий, говорю, червяк!» Даже губами причмокиваю. Ну что ж не клюёт-то, зараза?! Давай! Давай! Клюй!

Я вот потом пацанам-то расскажу, как я тебя вытаскивал! От зависти загнутся, как начну рассказывать, что я тебя – и туда, и сюда! Удочка в дугу, трещит! Ко мне на помощь уже бегут. А я говорю: «Не надо!   
Я сам!» И вот полчаса уже так друг друга перетягиваем. Наконец, поднимаю твою голову над водой, а ты только воздуха хлебнула – и всё!

Сдаётся рыбина. Ложится на бок. Лещ! Я его, эту сковородину, подвожу, конечно, без всякого сачка, под жабры пальцами сжимаю, у-у, лещуга! Тяжеленный! И тут я пацанам показываю нехилый бицепс, но я, мол, – во! Видали? Все пацаны переводят дыхание (жалко, что ещё никто не курит всерьёз, а только пробовали, а то нервно бы затягивались!). Да! А возразить-то никто не может! А то – айда смотреть! Вот он лещуга! Разлёгся на полванны. Жёлтый! Светится весь! Хвостище –   
лопатой. И он им – ба-бах! Ба-бах!

От этого «бабаха» я сам уже очнулся. Да что ты будешь делать! Опять на другом берегу… Хватаю банку с червяками, – туда. Всё повторяется –   
не клюёт. Придётся пацанам рассказать, что два раза леску рвало. Ну, вот разве, для пущей убедительности, кончик у удочки надломить? Нет, это не годится. Починяй потом… Да… Теперь обратно под тем берегом –   
ба-бах! Ба-бах!

Невод начали заводить уже по темноте.

Втроём на лодке завозили одно крыло его аж под самый другой берег и, делая дугу, причаливали обратно недалеко от того места,   
где в нетерпении дотягивали уже свои беломорины ожидающие на берегу. Взявшись по четверо с каждого крыла за толстенные палки-жердины, начали вытягивать невод. Поначалу снасть идёт ходко. Капроновые ячейки рассекают воду со свистящим шелестом. Но постепенно ячейки невода забиваются длинными шелковистыми водорослями, что растут со дна, и жёсткими, теми, что похожи на хвощи и растут ближе к берегу, листьями кувшинок и скользкой тиной… Большие гайки-грузила, что на нижнем шнуре, заставляют нижнюю часть невода врезаться в донный ил и загребать в свою пасть всё, что попадается на пути: ракушки, мелкие коряжинки, комья глины, разный мусор и мечущуюся во всём этом ужасе рыбу. Вот сквозь забитые водорослями ячейки вода начинает проходить уже плохо. Тяжело пошёл невод.

Ночь, темнотища! Мужики тяжело дышат, с просвистом. Сперва поругиваются. Палки-жерди аж потрескивают, выгибаясь. Тяжело идёт невод.

Кое-кто, оскальзываясь, и припадёт уже на колено. Подгоняют друг друга: «Давай! Давай!» Уже не то что поругиваются или разговаривают с матерком, а даже и кряхтят-то матом. Вода в забитые ячейки почти не проходит и шумным буруном переваливается через верхний шнур с большими, в кулак, пенопластовыми поплавками, и всем своим зевлом ненасытная, заглатывающая махина пытается уже всю ту часть заводи, что очертили дугой, всю её и выволочь на берег. В проявляющемся иногда слабом, рассеянном свете луны (сама луна появляется лишь в разрывах облаков, словно и смотреть не хочет на эту пагубу) видно и слышно, как за крыльями-щеками невода, в жадной пасти его, переходящей в глотку, пробулькивает, вскипает, плещется и будто жалобно попискивает.

И вот невод с трудом, рывками уже, но выволакивает свою ношу на берег. А мне ещё и представляется, что за самое окончание его, за мотню, в которой лежат железяки-грузы, водяной уцепился и пытается удержать невод, упирается во дно своими ножищами-кореньями. Да куда там удержать! Вон сколько этих мужичищ остервенело, сами все в поту, ругаются, но прут и прут себе в высокий берег эту мерзкую снасть! Вот и пробулькивает вода в ячейках, вскипая. Вот и поднимается муть за этой ужасной снастью, вот и слышится водяное сопение!   
А мужики кряхтят ещё громче, ещё упорнее и матернее! И тянут, тянут-таки водяного, уцепившегося за невод. И он, изранив ручищи свои железяками-грузами и раздирающими кожу ячейками невода да с избитыми о камни, ракушки и коряги ногами, у самого берега, обессилевший уже, со стоном и горьким, раздающимся по воде во всю ширь заводи «У-у-у-ух…» выпускает из рук гибельную эту снасть.

Ворохается в туго набитой мотне, всплескивает, всхлипывает, шевелится…

Двое мужиков, взявшись за осклизлый конец мотни с сочащейся из её ячеек жижей, поднимают его сначала до уровня пояса, потом до груди, стараются вытрясти её содержимое ближе к нижнему шнуру невода, а затем и вывалить всё на траву.

Рыбы было много! Язи, лини, лещи, караси, судаки, щуки и прочие плотвички да окушки. Из мелкой рыбёхи – много давленой. Крупные светлые рыбины, если были не залеплены тиной и грязью, – лещи, язи, крупная плотва, те ещё проблёскивают в пробивающемся иногда сквозь разрывы туч лунном свете. Но в основном вся рыба, ворочаясь в жиже из ила и тины, облепленная водорослями, почти не видна, и находить её приходится при помощи ощупывания растекающегося по траве месива да по затихающему рыбьему шевелению. Раков крупных, чёрных – неведомо сколько! Они, подбивая под себя хвостами, всё назад пятятся, выставив перед собой жуткие шипастые клешнищи. И представляется мне, что глазки их словно и не успевают за туловищем и потому, вываливаясь наружу из-под низкого, с шипами же, рачьего лба, телепаются на пружинистых проволочках. Страшно.

Пищат те, которые недораздавленные и уже не в силах упрыгать, лягушки и совсем ещё маленькие лягушата. Крупные, больше ладони, ракушки с каменным стуком бьются друг о друга, когда их вытряхают из мотни, и тоже будто попискивают…

Под утро мужики остаются довольны уловом! Четыре или пять полиэтиленовых мешка рыбой набили.

Только мне вот очень жалко раздавленных лягушек и лягушат. Жалко большие смятые и рваные уже листья кувшинок и лилий, их бутоны на перекрученных и оборванных стеблях, жалко те длинные и красивые водоросли, что тянулись со дна в прозрачной-прозрачной воде к поверхности, между которыми притаивались щурки, мелькала рыбья мелочь и рывками в разные стороны двигались тёмно-коричневые жуки-плавунцы. Теперь эти водоросли слиплись, перемешались с илом и тиной. Жалко те самые огромные, чёрные почти ракушки, которые днём под солнцем, обсохнув и словно прося пить, раскроют свои створки и станут похожими на открытые шкатулки, а язычки их будут, сморщиваясь, сохнуть между гаснущими под солнцем переливами внутренних перламутровых створок.

Страшным утром будет и то, что в выволоченных на берег, растёкшихся кучах осоки, рогоза, какого-то мусора, среди, потерявшей свой серебряный живой блеск и отверделой уже рыбьей мелочи на своих изломанных, перекрученных обрывках стеблей бутоны кувшинок и лилий раскроют, как раскрывали они каждое утро навстречу взошедшему солнцу жёлтые и необыкновенной белизны нежные цветы, раскроют лишь для того, чтобы узнать, что они мертвы и мёртвыми уже смотреть, смотреть на восходящее солнце.

На такую «рыбалку» мы с батей больше не ездили…